

Александр Иванович Куприн

Река жизни



Александр Иванович Куприн

Река жизни

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2477125

Аннотация

«Хозяйская комната в номерах „Сербия“. Желтые обои; два окна с тюлевыми грязными занавесками; между ними раскосое овальное зеркало, наклонившись под углом в 45 градусов, отражает в себе крашеный пол и ножки кресел; на подоконниках пыльные, бородавчатые кактусы; под потолком клетка с канарейкой. Комната перегорожена красными ситцевыми ширмами. Меньшая, левая часть – это спальня хозяйки и ее детей, правая же тесно заставлена всякой случайной разнофасонной мебелью, просиженной, раскоряченной и хромоногой...»

Содержание

I	4
II	9
III	23
IV	26

Александр Иванович Куприн Река жизни

I

Хозяйская комната в номерах «Сербия». Желтые обои; два окна с тюлевыми грязными занавесками; между ними раскосое овальное зеркало, наклонившись под углом в 45 градусов, отражает в себе крашенный пол и ножки кресел; на подоконниках пыльные, бородавчатые кактусы; под потолком клетка с канарейкой. Комната перегороджена красными ситцевыми ширмами. Меньшая, левая часть – это спальня хозяйки и ее детей, правая же тесно заставлена всякой случайной разнофасонной мебелью, просиженной, раскоряченной и хромоногой. По углам комнаты свален беспорядочно всяческий, покрытый паутиной хлам: астролябия в рыжем кожаном чехле и при ней тренога с цепью, несколько старых чемоданов и сундуков, бесструнная гитара, охотничьи сапоги, швейная машина, музыкальный ящик «Монопан», фотографический аппарат, штук пять ламп, груды книг, веревки, уз-

лы белья и многое другое. Все эти вещи были в разное время задержаны хозяйкой за неплатеж или покинуты сбежавшими жильцами. От них в комнате негде повернуться.

«Сербия» – гостиница третьего разбора. Постоянные жильцы в ней редкость, и те – проститутки. Преобладают случайные пассажиры, приплывающие в город по Днепру: мелкие арендаторы, еврей-комиссионеры, дальние мещане, богомольцы, а также сельские попы, которые наезжают в город с доносами или возвращаются домой после доноса. Занимаются также номера в «Сербии» парочками из города на ночь и на время.

Весна. Четвертый час дня. Занавески на открытых окнах тихо колеблются. В комнате пахнет керосиновым чадом и тушеной капустой. Это хозяйка разогревает на машинке бигос по-польски из капусты, свиного сала и колбасы с громадным количеством перца и лаврового листа. Она вдова лет тридцати шести – сорока, видная, крепкая, проворная женщина. Волосы, которые она завивает на лбу в мелкие кудерьки, тронуты сильной сединой, но лицо у нее свежее, чувственный большой рот красен, а темные, совсем молодые глаза влажны и ириво-хитры. Имя-отчество ее Анна Фридриховна – она полунемка, полуполька из Остзейского края, но близкие знакомые называют ее

просто Фридрихом, и это больше идет к ее решительному характеру. Она гневлива, крикунья и страшная сквернословка; дерется иногда со своими швейцарами и с подгулявшими жильцами; может выпить наряду с мужчинами и до безумия любит танцы; переходы от ругани к смеху у нее мгновенны. К законам она чувствует мало уважения, принимает гостей без паспортов, а неисправного жильца собственноручно «выкидает на улицу», как она сама выражается, то есть в отсутствие жильца отпирает его номер и выносит его вещи в коридор или на лестницу, а то и в свою комнату. Полиция с ней дружна из-за ее гостеприимства, живого характера и в особенности из-за той веселой, легкой, бесцеремонной и бескорыстной податливости, с которой она отвечает на каждое мимолетное мужское чувство.

У нее четверо детей. Двое старших, Ромка и Алечка, еще не пришли из гимназии, а младшие – семилетний Адька и пятилетний Эдька, здоровые мальчуганы со щеками, пестрыми от грязи, от лишаев, от размазанных слез и от раннего весеннего загара, – торчат около матери. Они оба держатся руками за край стола и попрошайничают. Они всегда голодны, потому что их мать насчет стола беспечна: едят кое-как, в разные часы, посылая в мелочную лавочку за всякой всячиной:

Вытянув губы трубой, нахмутив брови, глядя исподлобья, Адька гудит угрюмым басом:

– Ишь ты кака-ая, не даешь попробовать...

– Да-ай попло-обуву-уть, – тянет за ним в нос Эдька и чешет босой ножкой икру другой ноги.

За столом у окна сидит поручик запаса армии Валерьян Иванович Чижевич. Перед ним домовая книга, в которую он вписывает паспорта постояльцев. Но после вчерашнего работа идет у него плохо, буквы рябят и расползаются, дрожащие пальцы не ладят с пером, а в ушах гудит, как осенью в телефонном столбе. Временами ему кажется, что голова у него начинает пухнуть, пухнуть, и тогда стол с книгой, с чернильницей и с поручиковой рукой уходят страшно далеко и становятся совсем маленькими, потом, наоборот, книга приближается к самым его глазам, чернильница растет и двоится, а голова уменьшается до смешных и странных размеров.

Наружность поручика Чижевича говорит о бывшей красоте и утраченном благородстве: черные волосы ежиком, но на затылке просвечивает лысина, борода острижена по-модному, острым клинышком, лицо худое, грязное, бледное, истасканное, и на нем как будто написана вся история поручиковых явных слабостей и тайных болезней.

Положение его в номерах «Сербия» сложное: он

ходит к мировым судьям по делам Анны Фридриховны, репетирует ее детей в учит их светским манерам, ведет квартирную книгу, пишет счета постояльцам, читает по утрам вслух газету и говорит о политике. Ночует он обыкновенно в одном из пустующих номеров, а в случае наплыва гостей – и в коридоре на древнем диване, у которого пружины вылезли наружу вместе с мочалкой. В последнем случае поручик аккуратно развешивает над диваном, на гвоздиках, все свое имущество: пальто, шапку, лоснящийся от старости, белый по швам, но чистенький сюртучок, бумажный воротник «Монополь» и офицерскую фуражку с синим околышем, а записную книжку и платок с чужой меткой кладет под подушку.

Вдова держит своего поручика в черном теле. «Женись – тогда я тебе все заведу, – обещает она, – полную кипировку, и что нужно из белья, и ботинки с калошами приличные. Все у тебя будет, и даже по праздникам будешь носить часы моего покойника с цепью». Но поручик покамест все еще раздумывает. Он дорожит свободой и слишком высоко ценит свое бывшее офицерское достоинство. Однако кое-что старенькое из белья покойника он донашивает.

II

Время от времени в хозяйском номере происходят бури. То, бывает, поручик при помощи своего воспитанника Ромки продаст букинисту кипу чужих книг, то перехватит, пользуясь отсутствием хозяйки, суточную плату за номер, то заведет втайне игривые отношения с горничной. Как раз накануне поручик злоупотребил кредитом Анны Фридриховны в трактире напротив; это всплыло наружу, и вот вспыхнула ссора с руганью и с дракой в коридоре. Двери всех номеров раскрылись, и из них выглянули с любопытством мужские и женские головы. Анна Фридриховна кричала так, что ее было слышно на улице:

– Вон отсюда, разбойник, вон, босявка! Я все кровные труды на тебя потратила! Ты моих детей кровную копейку заедаешь!..

– Нашу копейку заедаешь! – орал гимназист Ромка, кривляясь за материнской юбкой.

– Заеда-аешь! – вторили ему в отдалении Адька с Эдькой.

Швейцар Арсений молча, с каменным видом, сопя, напирал грудью на поручика. А из номера девятого какой-то мужественный обладатель великолепной раздвоенной черной бороды, высунувшись из дверей до

половины в нижнем белье и почему-то с круглой шляпой на голове, советовал решительным тоном:

– Арсень! Дай ему между глаз.

Таким образом поручик был вытеснен на лестницу. Но так как на эту же лестницу отворялось широкое окно из коридора, то Анна Фридриховна еще продолжала кричать вслед поручику, свесившись вниз:

– Каналья, шарлатанщик, разбишака, босявка киевская!

– Босявка! Босявка! – надсаживались в коридоре мальчишки.

– И чтобы ноги твоей больше здесь не было. И вещи свои паршивые забирай с собой! Вот они, вот тебе, вот!

В поручика полетели сверху позабытые им впопыхах вещи: палка, бумажный воротничок и записная книжка. На последней ступеньке поручик остановился, поднял голову и погрозил кулаком. Лицо у него было бледно, под левым глазом краснела ссадина.

– Под-ждите, сволочи, я все докажу кому следует. Ага! Сводничают! Грабят жильцов!..

– А ты иди, иди, пока цел, – говорил сурово Арсений, наваливаясь сзади и тесня поручика плечом.

– Прочь, хам! Не имеешь права касаться офицера! – воскликнул гордо поручик. – Я все знаю! Вы здесь без паспорта пускаете! Укрываете! Краденое

укрываете... Пристано...

Но тут Арсений ловко обхватил поручика сзади, дверь со звоном и с дребезгом хлопнула, два человека, свившись клубком, выкатились на улицу, и уже от туда донеслось гневное:

– ...держательствуете!

Сегодня утром, как это всегда бывало и раньше, поручик Чижевич явился с повинной, принес с собою букет наломанной в чужом саду сирени. Лицо у него утомлено, вокруг ввалившихся глаз тусклая синева, виски желты, одежда не чищена, в голове пух. Примирение идет туго. Анна Фридриховна еще недостаточно насладились униженным видом своего любовника и его покаянными словами. Кроме того, она немного ревнует Валерьяна к тем трем ночам, которые он провел неизвестно где.

– Нюничка, а куда же... – начинает поручик необыкновенно кротким и нежным, даже слегка дрожащим фальцетом.

– Что та-ко-е? Кто это вам здесь за Нюничка! – презрительно обрывает его хозяйка. – Всякий гицель, и тоже – Нюничка!

– Нет, видишь ли, я только хотел спросить тебя, куда выписать Прасковью Увертышеву, тридцати четырех лет? Тут нет пометки.

– Ну и выписывай на толчок. И себя туда же можешь

выписать. Одна компания. Или в ночлежку.

«Стерва!» – думает поручик, но только глубоко в покорно вздыхает:

– Какая ты сегодня нервная, Нюничка!

– Нервная... Какая бы я там ни была, а я знаю про себя, что я женщина честная и трудящая... Прочь, вы, байструки! – кричит она на детей, и вдруг – шлеп! шлеп! – два метких удара ложкой влетают по лбу Адьке и Эдьке. Мальчики хнычут.

– Проклятое мое дело, и судьба моя проклятая... – ворчит сердито хозяйка. – Как я за покойным мужем жила, я никакого горя себе не видела. А теперь, что ни швейцар – так пьяница, а горничные все воровки. Цыц, вы, проклятики!.. Вот и эта Проська, двух дней не прожила, а уж из номера двенадцатого у девушки чулки стащила. А то еще бывают некоторые другие, которые только по трактирам ходят за чужие деньги, а дела никакого не делают...

Поручик очень хорошо знает, на кого намекает Анна Фридриховна, но сосредоточенно молчит. Запах бигоса вселяет в него кое-какие далекие надежды. В это время дверь отворяется, и входит, не снимая с головы фуражки с тремя золотыми позументами, швейцар Арсений. У него наружность скопца и альбиноса и все нечистое лицо в буграх. Он служит у Анны Фридриховны, по крайней мере, в сороковой раз, и слу-

жит до первого запоя, пока хозяйка собственноручно не прибьет его и не прогонит, отняв сначала у него символ власти – фуражку с позументами. Тогда Арсений наденет белую кавказскую папаху на голову и темно-синее пенсне на нос, будет куражиться в трактире напротив, пока весь не пропьяется, а под конец загула будет горько плакать перед равнодушным половым о своей безнадежной любви к Фридриху и будет угрожать смертью поручику Чижевичу. Протрезвившись, он явится в «Сербию» и упадет хозяйке в ноги. И она опять примет его, потому что новый швейцар, заменивший Арсения, уже успел за этот короткий срок обворовать ее, напиться, и наскандалить, и даже попасть в участок.

– Ты что? С парохода? – спрашивает Анна Фридриховна.

– Да. Привел шесть богомольцев. Насилу отнял у Якова и; «Коммерческой». Он уже их вел, а я подошел к одному и говорю на ухо: «Мне, говорю, все равно, идите хоть куда хотите, а как вы люди в здешних местах неизвестные и мне вас ужасно жалко, то я вам скажу, чтобы вы лучше за этим человеком не ходили, потому что у них в гостинице на прошлой неделе богомольцу одному подсыпали порошок и обокрали». Так и увел их. Яков потом мне кулаком издальки грозился. Кричит: «Ты постой у меня, Арсений, я тебе еще

споймаю, ты моих рук не убежишь!» Но только я ему и сам, если придется...

– Ладно! – прерывает его хозяйка. – Большое мне дело до твоего Якова. По сколько сговорились?

– По тридцать копеек. Ей-богу, барыня, как ни угоривал, больше не дают.

– У, дурень ты, ничего не умеешь. Отведи им номер второй.

– Всех в один?

– Дурак: нет, каждому по два номера. Конечно, в один. Принести им матрацев, из старых, три матраца принести. А на диван – скажи, чтобы не смели ложиться. Всегда от этих богомольцев клопы. Ступай!

По уходе его поручик замечает вполголоса нежным и заботливым тоном:

– Я удивляюсь, Нюточка, как это ты позволяешь ему входить в комнату в шапке. Это же все-таки неуважение к тебе, как к даме и как к хозяйке. И потом – посуди мое положение: я офицер в запасе, а он все-таки... нижний чин. Неудобно как-то.

Но Анна Фридриховна набрасывается на него с новым ожесточением:

– Нет, уж ты, пожалуйста, не суйся, куда тебя не спрашивают. О-фи-цер! Таких офицеров много у Терещенки в приюте ночует. Арсений человек трудящийся, он свой кусок зарабатывает... не то что... Прочь, вы,

лайдаки! Куда с руками лезете!

– Да-а... не дае-ешь! – гудит Адька.

– Не да-е-ос!..

Между тем бигос готов. Анна Фридриховна гремит посудой на столе. Поручик в это время старательно припал головой к домашней книге. Он весь ушел в дело.

– Что ж, садись, что ли, – отрывисто приглашает хозяйка.

– Нет, спасибо, Нюточка. Кушай сама. Мне что-то не очень хочется, говорит Чижевич, не оборачиваясь, сдавленным голосом и громко глотает слюну.

– А ты иди, когда говорят. Тоже, скажите, задается. Ну, иди!..

– Сейчас, сию минуту, Нюничка. Вот только последний листок дописать. По удостоверению, выданному из Бильдинского волостного правления... губернии... за номером 2039... Готово. – Поручик встает и потирает руки. Люблю я поработать.

– Хм! Тоже работа! – презрительно фыркает хозяйка. – Садись.

– Нюничка, и если бы... одну... маленькую...

– Обойдется и без.

Но так как мир почти уже водворен, то Анна Фридриховна достает из шкафа маленький пузатый графинчик, из которого пил еще отец покойного. Адька размазывает капусту по тарелке и дразнит

брата тем, что у него больше. Эдька обижается и ревет:

– Адьке больсе полози-ила. Да-а!

Хлоп! – Звонкий удар ложкой поражает Эдьку в лоб. И тотчас же, как ни в чем не бывало, Анна Фридриховна продолжает разговор:

– Рассказывай! Тоже мастер врать. Наверно, валялся у какой-нибудь.

– Нюничка! – восклицает поручик укоризненно и, оставив есть, прижимает руки – в одной из них вилка с куском колбасы – к груди. – Чтобы я? О, как ты меня мало знаешь. Я скорее дам голову на отсечение, чем позволю себе подобное. Когда я тот раз от тебя ушел, то так мне горько было, так обидно! Иду я по улице и, можешь себе представить, заливаюсь слезами. Господи, думаю, и я позволил себе нанести ей оскорбление. Ко-му-у! Ей! Единственной женщине, которую я люблю так свято, так безумно...

– Хорошо поёшь, – вставляет польщенная, хотя все еще немного недоверчивая хозяйка.

– Да! Ты не веришь мне! – возражает поручик с тихим, но глубоким трагизмом. – Ну что ж, я заслужил это. А я каждую ночь приходил под твои окна и в душе творил молитву за тебя. – Поручик быстро опрокидывает рюмку, закусывает и продолжает с набитым ртом и со слезящимися глазами: – И я все думал: что, если

бы случился вдруг пожар или напали разбойники? Я бы тогда доказал тебе. Я бы с радостью отдал за тебя жизнь... Увы, она и так недолга, – вздыхает он. – Дни мои сочтены...

В это время хозяйка роется в кошельке.

– Скажите пожалуйста! – возражает она с кокетливой насмешкой. – Адька, вот тебе деньги, сбегай к Василь Василичу за бутылкой пива. Только скажи, чтобы свежего. Живо!

Завтрак уже окончен, бигос съеден и пиво выпито, когда появляется развращенный гимназист приготовительного класса Ромка, весь в мелу и в чернилах. Еще в дверях он оттопыривает губы и делает сердитые глаза. Потом швыряет ранец на пол и начинает завывать:

– Да-а... без меня все поели. Я голодный, как соба-а-ака...

– А у меня еще есть, а я тебе не дам, – дразнит его Адька, показывая издали тарелку.

– Да-а-а... Это сви-инство, – тянет Ромка. – Мама, вели А-адьке...

– Молчать! – вскрикивает пронзительно Анна Фридриховна. – Ты бы еще до ночи шлялся. Вот тебе пятак. Купи колбасы, и довольно с тебя.

– Да-а, пятак! Сами с Валерьяном Иванычем бигос едят, а меня учиться заставляют. Я, как соба-а-а...

– Вон! – кричит Анна Фридриховна страшным голосом, и Ромка поспешно исчезает. Однако он успевает схватить с полу ранец: в голове у него мгновенно родилась мысль – пойти продать свои учебники на толкучке. В дверях он сталкивается со старшей сестрой Алечкой и, пользуясь случаем, щиплет ее больно за руку. Алечка входит, громко жалуясь:

– Мама, вели Ромке, чтобы он не щипался.

Она хорошенькая тринадцатилетняя девочка, начинающая рано формироваться. Она желто-смуглая брюнетка, с прелестными, но не детскими темными глазами. Губы у нее красные, полные и блестящие, и над верхней губкой, слегка зачерненной легким пушком, две милые родинки. Она общая любимица в номерах. Мужчины дарят ей конфеты, часто зазывают к себе, целуют и говорят бесстыдные вещи. Она все знает, что может знать взрослая девушка, но никогда в этих случаях не краснеет, а только опускает вниз свои черные длинные ресницы, бросающие синие тени на янтарные щеки, и улыбается странной, скромной, нежной и в то же время сладострастной какой-то ожидающей улыбкой. Ее лучшая приятельница – девица Женя, квартирующая в номере двенадцатом, тихая, аккуратная в плате за квартиру, полная блондинка, которую содержит какой-то купец-дровяник, но которая в свободные дни водит к себе кавалеров с ули-

цы. Эту особу Анна Фридриховна весьма уважает и говорит про нее: «Ну что ж, что Женечка девка, зато она женщина самостоятельная».

Увидев, что завтрак съеден, Алечка вдруг делает одну из своих принужденных улыбок и говорит тонким голоском, громко и несколько театрально:

– А, вы уже позавтракали. Я опоздала. Мама, можно мне пойти к Евгении Николаевне?

– Ах, иди, куда хочешь!

– Мерси.

Она уходит. После завтрака водворяется полный мир. Поручик шепчет на ухо вдове самые пылкие слова и жмет ей под столом круглое колено, а она, покрасневшись от еды и от пива, то прижимается к нему плечом, то отталкивает его и стонет с нервным смешком:

– Да Валерьян! Да бесстыдник! Дети!

Адька и Эдька смотрят на них, засунув пальцы в рот и широко разинув глаза. Мать вдруг набрасывается на них:

– Идите гулять, лаборданцы. Й-я вас. Расселись, точно в музее. Марш, живо!

– Когда я не хочу гулять, – гудит Адька.

– Я не хоц-у-у.

– Я вот вам дам – не хочу. Две копейки на леденцы – и марш!

Она запирает за ними дверь, садится к поручику на колени, и они начинают целоваться.

– Ты сердисься, мое золотце? – шепчет ей на ухо поручик.

Но в дверь стучат. Приходится отпираться. Входит новая горничная, высокая, мрачная, одноглазая женщина, и говорит хрипло, с свирепым выражением лица:

– Там двенадцатый номер самовар требует, и чай, и сахар.

Анна Фридриховна нетерпеливо выдает все, что нужно. Поручик, раскинувшийся на диване, говорит томно:

– Я бы отдохнул немного, Нюничка. Нет ли свободного номера? Здесь все люди толкуются.

Свободный номер оказывается только один – пятый, и они отправляются туда. Номер в одно окно, темный, узкий и длинный, как кегельбан. Кровать, комод, облупленный коричневый умывальник и ночной столик составляют всю его меблировку. Хозяйка и поручик опять начинают целоваться, причем стонут, как голуби весной на крыше.

– Нюничка, если ты меня любишь, мое сокровище, пошли за папиросами «Плезир», шесть копеек десятков, – вкрадчиво говорит поручик, раздеваясь.

– Потом...

Весенний вечер быстро темнеет, и вот на дворе уже

ночь. В окно слышны свистки пароходов на Днестре, и скользит далекий запах травы, пыли, сирени, нагретого камня. Вода звонкими каплями мерно падает внутри умывальника. Но в дверь опять стучатся.

– Кто там? Какого черта все шляется? – кричит разбуженная Анна Фридриховна. Она босиком вскакивает с кровати и гневно распахивает дверь. – Ну, что еще нужно?

Поручик Чижевич стыдливо натягивает на голову одеяло.

– Студент спрашивает номер, – суфлерским шепотом говорит за дверью Арсений.

– Какой студент? Скажи ему, что остался только один номер и то в два рубля. Он один или с женщиной?

– Один.

– Так и скажи. И паспорт и деньги вперед. Знаю я этих студентов.

Поручик поспешно одевается. Благодаря привычке он делает свой туалет в десять секунд. Анна Фридриховна в это время ловко и быстро оправляет постель. Возвращается Арсений.

– Заплатил вперед, – говорит он мрачно. – И паспорт вот.

Хозяйка выходит в коридор. Волосы у нее разбились и прилипли ко лбу, на пунцовых щеках оттисну-

лись складки подушки, глаза необычайно блестят. За ее спиной поручик бесшумной тенью пробирается в хозяйский номер.

У окна на лестнице дожидается студент. Он светло-волосый, худощавый, уже немолодой человек с длинным, бледным, болезненно-нежным лицом. Голубоватые глаза смотрят точно сквозь туман, добродушны, близоруки и чуть-чуть косят. Он вежливо кланяется хозяйке, отчего та смущенно улыбается и защелкивает верхнюю кнопку на блузке.

– Мне бы номер, – говорит он мягко, точно робея. – Мне надо ехать. И еще бы я попросил свечку, перо и чернила.

Ему показывают кегельбан. Он говорит:

– Прекрасно, лучше нельзя требовать. Здесь чудесно. Только вот, пожалуйста, перо и чернила.

От чаю и от белья он отказывается. Ему все равно.

III

В хозяйском номере горит лампа. На открытом окне сидит поджавши ноги, Алечка и смотрит, как колышется внизу темная, тяжелая масса воды, освещенной электричеством, как тихо покачивается жидкая, мертвенная зелень тополей вдоль набережной. На щеках у нее горят два круглых, ярких, красных пятна, а глаза влажно и устало мерцают. Издалека, с той стороны реки, где сияет огнями кафешантан, красиво плывут в холодеющем воздухе резвые звуки вальса.

Пьют чай с покупным малиновым вареньем. Адька и Эдька накрошили себе в чашки черного хлеба, сделали тюрю, измазали ею щеки, лбы и носы и делают друг другу рожи, пуская пузыри в блюдечко. Ромка, вернувшийся с синяком под глазом, торопливо, со свистом тянет чай из блюдечка. Поручик Чижевич, расстегнув жилет и выпустив наружу бумажную грудь манишки, благодушествует среди этой домашней идиллии, полулежа на диване.

– Все номера, слава богу, заняты, – вздыхает мечтательно Анна Фридриховна.

– А что? Все моя легкая рука! – говорит поручик. – Как я пришел, так и дело пошло.

– Ну да, рассказывай.

– Нет, ей-богу, у меня рука необыкновенно легкая. У нас в полку, когда, бывало, капитан Горжевский мечет банк, то всегда сажает меня около себя. Эх, как у нас в полку здорово резались в карты! Этот самый Горжевский, еще подпоручиком, выиграл во время турецкой войны двенадцать тысяч. Пришел наш полк в Букарешт. Ну, конечно, денег у господ офицерства гибель, девать было некуда, женщин нет. Начали кутеж. И вдруг Горжевский налетает на шулера. Прямо по морде видать, что шулер, но так ловко передергивает, что невозможно уследить...

– Подожди, я сейчас приду, – перебивает его хозяйка, – мне только надо выдать полотенце.

Она уходит. Поручик подкрадывается к Алечке и близко наклоняется к ней. Ее прекрасный профиль, темный на фоне ночи, тонко, серебристо и нежно очерчен сиянием электрических фонарей.

– О чем, Алечка, задумалась? Или, может быть, о ком? – спрашивает он сладко, с дрожью в голосе.

Она отворачивается от него. Но он быстро приподнимает ее толстую косу, целует ее под волосы в теплую тонкую шейку и жадно нюхает запах ее кожи.

– Я маме скажу, – шепчет Алечка, не отодвигаясь.

Дверь отворяется, – это возвратилась Анна Фридриховна. Поручик тотчас же начинает говорить неестественно громко и развязно:

– Действительно, славно в такую чудную, весеннюю ночь прокатиться на лодке с любимым существом или близким другом. Да, Нюничка, так вот я продолжаю. Таким образом Горжевский пропускает целых шесть тысяч, черт побери! Наконец его кто-то надомил, он и говорит: «Баста! Я так не буду играть. А вот не угодно ли, прибьем колоду гвоздем к столу и будет отрывать по карте?» Тот было на попятный. Но Горжевский вынул револьвер: «Или играй, собака, или пулю в лоб!» Ничего не поделаешь, шулер сел и, главное, так растерялся, что позабыл, что сзади него зеркало, а Горжевский сидит напротив, и ему в зеркало все карты партнера видны. И Горжевский не только свои отыграл, но еще выиграл чистых одиннадцать тысяч. Он даже велел этот гвоздь оправить в золото и теперь носит при часах, в виде брелока. Очень оригинально.

IV

В это время в пятом номере сидит на кровати студент. Перед ним на ночном столике свеча и лист почтовой бумаги. Студент быстро пишет, на минуту останавливается, шепчет что-то про себя, покачивает головой, напряженно улыбается и опять пишет. Вот он глубоко обмакнул перо в чернила, потом зачерпнул им, как ложечкой, жидкого стеарина около фитиля и сует эту смесь в огонь. Она трещит и брызжет во все стороны бойкими синими огоньками. Этот фейерверк напоминает студенту что-то смешное, полузабытое из далекого детства. Он смотрит на пламя свечи, кося глаза и рассеянно и печально улыбаясь. Потом вдруг, точно очнувшись, встряхивает головой, вздыхает и, быстро обтерши перо о рукав синей рубашки, продолжает писать:

«Ты скажи им все, что скажет тебе мое письмо и чему, я знаю, ты поверишь. Меня они все равно не поймут, а у тебя есть слова, простые и понятные для них. Странно одно: вот я пишу тебе и знаю, что через десять пятнадцать минут я застрелюсь, и эта мысль совсем не страшит меня. Но когда седой огромный жандармский

полковник весь побагровел и с руганью затопал на меня ногами, я растерялся. Когда он закричал, что мое упорство напрасно и только губит меня и моих товарищей и что Белоусов, и Книгге, и Соловейчик сознались, то я подтвердил. Я, не боящийся смерти, испугался окрика этого тупого, ограниченного человека, заостеневшего в своем профессиональном апломбе. И что всего подлее: ведь он на других не смел кричать, а был любезен, предупредителен и слащав, как провинциальный зубной врач, – был даже либерален. Во мне же он сразу понял уступчивую и дряблую волю. Это чувствуется между людьми без слова, с одного взгляда.

Да, я сознаю, что все вышло дико, и презренно, и смешно, и отвратительно. Но иначе не могло быть, и если бы повторилось, то вышло бы по-прежнему. Отчаянной храбрости боевые генералы очень часто боятся мышей. Они иногда даже браврируют этой маленькой слабостью. А я с печалью говорю, что больше смерти боюсь этих деревянных людей, жестко застывших в своем мирозерцании, глупо-самоуверенных, не знающих колебаний. Если бы ты знал, как робею я и стесняюсь перед монументальными городскими, перед откормленными, мордатými петербургскими швейцарами, перед барышнями в редакциях

журналов, перед секретарями в судах, перед лающими начальниками станций! Когда мне однажды пришлось свидетельствовать в участке подписать, то один вид толстого пристава с рыжими подусниками в ладонь, с выпяченной грудью и с рыбьими глазами, который все время меня перебивал, не дослушивал, на минуты забывал о моем присутствии или вдруг притворялся не понимающим самой простой русской речи, – один его вид привел меня в такой гадкий трепет, что я сам слышал в своем голосе заискивающие, рабские интонации.

Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, услужливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей – у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от

этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трепаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: „А вот нос моего сыночка Левушки“. Они смеялись, а я краснел и бесконечно страдал в эти минуты за нее и за себя и молчал, потому что мне в гостях запрещалось говорить. Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня, как на неодушевленный предмет, сонно, лениво и снисходительно совавших мне руку в рот для поцелуя, и я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед: кружковых ораторов, старых, волосатых, румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, внушительных и елейных соборных протопопов, жандармских полковников, радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жестокой и плоской, как мраморная доска. Когда я говорю с ними, я чувствую, что на моем лице лежит противной

маской чужая, поддакивающая, услужливая улыбка, и презираю себя за свой заискивающий тонкий голос, в котором ловлю отзвук прежних материнских ноток. Души этих людей мертвы, мысли окоченели в прямых, твердых линиях, и сами они беспощадны, как только может быть беспощаден уверенный и глупый человек.

От семи до десяти лет я пробыл в закрытом благотворительном казенном пансионе с фребелевской системой воспитания. Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество, зависть к любимчикам и – главное – самое главное – тишайшее поведение; мы же, мальчишки, сами собою, культивировали воровство и онанизм. Потом из милости меня приняли в казенный пансион при гимназии. Там было все, что бывает в казенных пансионах. Обыски и шпионство со стороны надзирателей, бессмысленный зубреж, куренье в третьем классе, водка в четвертом, в пятом – первая публичная женщина и первая нехорошая болезнь.

Дальше вдруг повеяло новыми, молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями. Мой ум с жадностью развернулся им навстречу, но моя душа была

уже навеки опустошена, мертва и опозорена. Низкая неврастичная боязливость впиалась в нее, как клещ в собачье ухо: оторвешь его, останется головка, и он опять вырастет в целое гнусное насекомое.

Не я один погиб от этой моральной заразы. Я, может быть, был слабейшим из всех. Но ведь все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции! Потому что тихое оподление души человеческой ужаснее всех баррикад и расстрелов в мире.

Странно: когда я один на один с моей собственной волей, я не только не трус, но я даже мало знаю людей, которые так легко способны рисковать жизнью. Я ходил по карнизам от окна к окну на пятиэтажной высоте и глядел вниз, я заплывал так далеко в море, что руки и ноги отказывались служить мне, и я, чтобы избежать судороги, ложился на спину и отдыхал. И многое, многое другое. Наконец через десять минут я убью себя, а это тоже ведь чего-нибудь да стоит. Но людей я боюсь. Людей я боюсь! Когда я слышу, как пьяные ругаются и дерутся на улице, я бледнею

от ужаса в своей комнате. А когда я ночью, лежа в постели, представляю себе пустую площадь и несущийся по ней с грохотом взвод казаков, я чувствую, как сердце у меня перестает биться, как холодеет все мое тело и мои пальцы судорожно корчатся. Я на всю жизнь испуган чем-то, что есть в большинстве людей и чего я не умею объяснить. Таково было и все молодое поколение предыдущего, переходного времени. Мы в уме презирали рабство, но сами росли трусливыми рабами. Наша ненависть была глубока, страстна, но бесплодна, и была похожа на безумную влюбленность кастрата.

Но ты все поймешь и все объяснишь товарищам, которым я перед смертью говорю, что люблю их и уважаю, несмотря ни на что. Может быть, они поверят тебе, что я умер вовсе не потому, что невольно и низко предал их. Я знаю, что нет в мире ничего страшнее этого страшного слова „предатель“, которое, идя от уст к ушам, от уст к ушам, заживо умерщвляет человека. О, я сумел бы загладить мою ошибку, не будь я рожден и воспитан рабом человеческой наглости, трусости и глупости. Но именно оттого, что я таков, я и умираю. В теперешнее страшное, бредовое время позорно, и тяжело, и прямо невозможно жить таким, как я.

Да, мой дорогой, я в последние годы очень

много слышал, видел и читал. Я говорю тебе: над нашей родиной прошло ужасное вулканическое извержение. Вырвалось пламя долго сдержанного гнева и потопило все: боязнь завтрашнего дня, почтение к предкам, любовь к жизни, мирные сладости семейного благополучия. Я знаю о мальчиках, почти детях, которые отказывались надевать повязку на глаза перед расстрелом. Я сам видел людей, перенесших пытки и не сказавших ни слова. И все это родилось внезапно, появилось в каком-то бурном дыхании. Из яиц индюшек вдруг выклевывались орлята. Как недолог, но как чудесен и героичен был их полет к пылающему солнцу свободы! Я видел, как в детях, в гимназистах, в школьниках просыпалось и загоралось священное уважение к своему радостному, гордому, свободному „я“, именно к тому, что из нас вытравила духовная нищета и трепетная родительская мораль. Ну – и к черту нас!

Сейчас без восьми девять. Ровно в девять со мной будет кончено. Собака лает на дворе – раз, два, потом помолчит и – раз, два, три. Может быть, когда угаснет мое сознание и вместе с ним навеки исчезнет для меня все: города, площади, пароходные свистки, утра и вечера, номера гостиниц, тиканье часов, люди, звери, воздух, свет и тьма, время и пространство, и

не будет ничего, даже не будет мысли об этом „ничего“, – может быть, эта собака долго будет лаять нынешним вечером – сначала два раза, потом три.

Девять без пяти минут. Смешная идея меня занимает. Я думаю: мысль человека – это как бы ток от таинственного, еще неведомого центра, это какая-то широкая напряженная вибрация невесомой материи, разлитой в мировом пространстве и проникающей одинаково легко между атомами камня, железа и воздуха. Вот мысль вышла из моего мозга, и вся мировая сфера задрожала, заколебалась вокруг меня, как вода от брошенного камня, как звук вокруг звенящей струны. И мне думается, что вот человек уходит, сознание его уже потухло, но мысль его еще остается, еще дрожит в прежнем месте. Может быть, мысли и сны всех людей, бывших до меня в этой длинной, мрачной комнате, еще реют вокруг меня и тайно направляют мою волю? И, может быть, завтра случайный посетитель этого номера задумается внезапно о жизни, о смерти, о самоубийстве, потому что я оставлю здесь после себя мою мысль? И, почему знать, может быть, не завися ни от веса, ни от времени, ни от преград материи, мои мысли в один и тот же момент ловятся таинственными,

чуткими, но бессознательными приемниками в мозгу обитателя Марса, так же как и в мозгу собаки, лающей на дворе? Ах, я думаю, что ничто в мире не пропадает, – ничто! – не только сказанное, но и подуманное. Все наши дела, слова и мысли – это ручейки, тонкие подземные ключи. Мне кажется, я вижу, как они встречаются, сливаются в родники, просачиваются наверх, стекаются в речки – и вот уже мчатся бешено и широко в неодолимой Реке жизни. Река жизни – как это громадно! Все она смоем рано или поздно, снесет все твердыни, оковавшие свободу духа. И где была раньше отмель пошлости – там сделается величайшая глубина героизма. Вот сейчас она увлечет меня в непонятную, холодную даль, а может быть, не далее как через год она хлынет на весь этот огромный город, и потопит его, и унесет с собою не только его развалины, но и самое его имя!

А может быть, все это смешно, что я пишу. Осталось две минуты. Горит свечка, часы торопливо постукивают передо мною. Собака все еще лает. А что, если ничего не останется ни от меня, ни во мне, но останется только одно, самое последнее ощущение – может быть, боль, может быть, звук выстрела, может быть, голый, дикий ужас, но останется навсегда, на тысячи миллионов

веков, возведенных в миллиардную степень?

Стрелка дошла. Сейчас мы все это увидим. Нет, подожди: какая-то смешная стыдливость заставила меня встать и запереть дверь на ключ. Прощай. Еще два слова: а ведь темная душа собаки должна быть гораздо более восприимчива к вибрациям мысли, чем человеческая... Не оттого ли они и воют, почуяв покойника. А? Вот и эта собака, что лает внизу. Теперь она уже чувствует тревогу. Но через минуту от центральной батареи моего мозга побегут страшными скачками новые чудовищные токи и коснутся бедного мозга собаки. И она завоюет в нестерпимом, слепом ужасе... Прощай. Иду».

Студент запечатал письмо, аккуратно заткнул для чего-то пробкой чернильницу, встал с кровати и достал из кармана тужурки браунинг. Переверел предохранитель с «sur» на «feu»¹. Расставив ноги для устойчивости, зажмурился. И вдруг, быстро поднеся обеими руками револьвер к правому виску, он нажал гашетку.

– Что это? – тревожно спрашивает Анна Фридриховна.

– А это твой студент застрелился, – небрежно шутит поручик. – Такие все сволочи – эти студенты...

¹ «безопасно»... «огонь» (фр.)

Но Анна Фридриховна вскакивает и бежит в коридор, поручик лениво следует за ней. Из номера пятого кисло пахнет газами бездымного пороха. Смотрят в замочную щелку – студент лежит на полу.

Через пять минут у подъезда гостиницы уже стоит черная, густая, жадная толпа, и Арсений с озлоблением гонит посторонних с лестницы. В гостинице суэта. Слесарь взламывает дверь запертого номера, дворник бежит за полицией, горничная – за доктором. Через некоторое время появляется околоточный надзиратель, высокий, тонкий молодой человек с белыми волосами, белыми ресницами и белыми усами. Он в мундире и в широчайших шароварах, спускающихся до половины лакированных сапог. Он тотчас же напирает грудью на публику и, выкативши светлые глаза, гремит начальственно:

– Ос-сади назад! Р-р-разойдись! Я не понимаю, господа, что т-тут вы нашли любопытного? Ровно ничего. Господин... убедительно прошу... А еще, кажется, интеллигентный человек, в котелке... Что-с? А вот я тебе покажу полицейский произвол-с. Михальчук, заметить этого. Эй, мальчишка, куда лезешь. Я-ть!..

Дверь взломана. В номер входят надзиратель, Анна Фридриховна, поручик, четверо детей, понятые, городской, два дворника – впоследствии доктор. Студент лежит на полу, уткнувшись лицом в серый ков-

рик перед кроватью, левая рука у него подогнута под грудь, правая откинута, револьвер валяется в стороне. Под головой лужа темной крови, в правом виске круглая маленькая дырочка. Свеча еще горит, и часы на ночном столике поспешно тикают.

Составляется короткий протокол в казенных словах, и к нему прилагается оставленное самоубийцей письмо... Двое дворников и городской несут труп вниз по лестнице. Арсений светит, высоко подняв лампу над головой. Анна Фридриховна, надзиратель и поручик смотрят сверху из окна в коридоре. Несущие на повороте разладились в движениях, застряли между стеной и перилами, и тот, который поддерживал сзади голову, опускает руки. Голова резко стучается об одну ступеньку, о другую, о третью.

– Так его! Так его! – озлобленно кричит из окна хозяйка. – Так ему и надо, подлецу! Я еще на чай дам!

– Какие вы кровожадные, мадам Зигмайер, – игриво замечает надзиратель и, закрутив ус, скашивает глаза на его кончик.

– А еще бы! Теперь в газету из-за него попадешь. Я женщина бедная, трудящая, а теперь из-за него люди будут мою гостиницу обегать.

– Это конечно, – любезно соглашается надзиратель. – И удивляюсь я на этих господ студентов. Учиться не хотят, красные флаги какие-то выбрасы-

вают, стреляются. Не хотят понять, каково это ихним родителям. Ну, еще бедные – черт с ними, прельщаются на жидовские деньги. Но ведь и порядочные туда же, сыновья дворян, священников, купцов... Народ! Однако, мадам, пожелав вам всего хорошего...

– Нет, нет, нет, нет, ни за что! – схватывается хозяйка. – У нас сейчас ужин... селедочка. А так я вас ни за что не пущу.

– Собственно говоря... – мнетя околоточный. – А впрочем, пожалуй. Я, признаться, и так хотел зайти напротив к Нагурному перехватить чего-нибудь. Наша служба, – говорит он, вежливо пропуская даму в дверь, наша служба тяжелая. Иногда и целый день во рту куска не бывает.

За ужином все трое пьют много водки. Анна Фридриховна, вся раскрасневшаяся, с сияющими глазами и губами как кровь, сняла под столом одну туфлю и горячей ногой в чулке жмет ногу околоточному. Поручик хмурится, ревнует и все пытается рассказать о том, как «у нас в полку». Околоточный же не слушает его, перебивает и рассказывает о потрясающих случаях «у нас в полиции». Каждый из них старается быть как можно небрежнее и невнимательнее к другому, и оба они похожи на двух только что встретившихся во дворе кобелей.

– Вот вы все – «у нас в полку», – говорит, глядя не

на поручика, а на хозяйку, надзиратель. – А позволите полюбопытствовать, почему вы вышли из военной службы?

– Позвольте-с, – возражает обидчиво поручик. – Однако я вас не спрашиваю, как вы дошли до полиции? Как дошли вы до жизни такой?

Но тут Анна Фридриховна вытаскивает из угла музыкальный ящик «Монопан» и заставляет Чижевича вертеть ручку. После небольших упрашиваний околоточный танцует с ней польку – она скачет, как девочка, а на лбу у нее прыгают крутые кудряшки. Затем вертит ручку околоточный, а танцует поручик, прикрутив руку хозяйки к своему левому боку и высоко задрал голову. Танцует и Алечка с опущенными ресницами и своей странной, нежно-развратной улыбкой на губах.

Околоточный уже окончательно прощается, когда появляется Ромка.

– Да-а... Я студента провожал, а вы без меня-а-а. Я, как соба-а-ака...

А то, что было прежде студентом, уже лежит в холодном подвале анатомического театра, на цинковом ящике, на льду, – лежит, освещенное газовым рожком, обнаженное, желтое, отвратительное. На правой голй ноге выше щиколотки толстыми чернильными цифрами у него написано: 14. Это его номер в анатомическом театре.